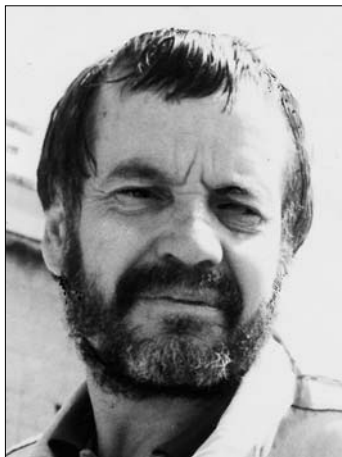


АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН



СКОТНИК ЕРЕМЕЙ

РАССКАЗ

Памяти Василия Шукшина

Чудом дожил колхоз “Заря Прибайкалья”... власть уже добивала горемычное село, и без того лежащее под святыми лицами... но и “Заря”, избитая, изволоченная, зачахла на обморочном закате усталого века. Обмелели колхозные пашни и покосы в долине Иркутка, заросли травой лебедой, осотом, чертополохом с лиловыми шишками; и стали нивы похожи на мужика, забородавшегося по самые очеса, залохматевшего, почерневшего от паленого спирта; и лишь увеселял взгляд озорной березняк и осинник, стаями кочующий по житным полям. Сдали на убой обредевший скот, и Андриевский Еремей Мардарьевич, потомственный скотник, лишился работы. Виногато погладил унылую буренку... слеза блуждала в седой щетине... и в слезной мгле попрощался со скотным двором, дрожащей ладонью обласкал листовичные прясла ворот, вышарканные до бурого блеска, с присохшей коровьей шерстью. Как чалка сдох, и мужик засох: затосковал Еремей, поминая скотный двор, бывало оглашённый сытым мычанием, поминая и чалого коня: взял степняком, не ведаящим узды, седла и хомута, объездил и лет десять пас телок и бычков.

Эх, было времечко, ела кума семечки... От кумачового рассвета до глухого, дымного заката жизни Еремей обихаживал рогатый скот, и хотя еще

БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич родился в забайкальском селе Сосново-Озёрск. После окончания Иркутского университета работал в областных газетах, преподавал русскую литературу в школах. С начала 90-х годов — преподаватель стилистики и русской этики на филологическом факультете Иркутского госуниверситета. Автор книг “Старый покос” (повесть), “Поздний сын” (повесть), “Боже мой...” (роман), “Яко богию землю нареки” (фольклорно-этнографические, историко-публицистические и художественные очерки), “Русский месяцеслов” (обычаи, обряды, поверия, приметы русского народа). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

не ночь, а синеватые житейские сумерки, хотя еще поработал бы вволюшку... раззудись плечо, размахнись рука... да нет, Ерема, сиди дома или дремли на завалинке, копти небо махрой и гляди: в багровых закатах до слез то склони чернеют скелеты бывших овечьих кошар, ферм, скотных дворов, где сутулыми тенями слоняются мужики, обезумевшие от паленого пойла. Слушай, Ерема, как рыщет, свищет варначий ветер на бывлых пашнях, треплет лихие, сухие травы, словно седые старческие космы; и, словно светлые призраки, лишь Еремею видимые, плывут по ниве миражные виденья, — бывлые комбайны, трактора, стада, отары, табуны... Эх, сплыло времечко, осталось лишь беремячко...

Сидел бы по-стариковски на завалинке, положи зубы на полку, коль пенсию пока не дали, да голод не тетка, погнал в тайгу, где Еремей валил строевой лес на хозяина; да шибко уж мерзко было на душе от пакостного, воровского ремесла, да и лес жалко.

“Эх, что за народ люди?!” — сокрушался Еремей, перво-наперво себя и коря; и если бы его укоризненные думы обрели книжную обличку, то выглядели бы так...

Хотя у Бога и милости много, не как у мужика горюна, и не по страстям и похотям жалостлив Бог, но попустил скорби и печали, ибо, отрекаясь от старого мира, от брехливых попов, люди изувелились в бессмертии души, отвергли Царя Небесного и Царство Небесное, возжелали земного утробного рая без Бога и помазанника Божия. Но, отрекаясь от Вышнего, братолюбивый народ не отрекся от ближнего, не отрекся и от Божиих заповедей, запечатленных в Нагорной проповеди, а посему, в поте лица своего созидавая утробный рай даже не себя ради, но ради грядущих потомков, рвал жилы, ломал спины. И уж вроде замаячил “рай”, но избаловался, извередился на родец, даже деревенский, не говоря уж о городском; на Бога не уповая, зажил народец своеумно и своевольно, как савраска без узды, а своя воля — страшнее неволи. Воистину, посельга беспутая: робыли шалай-валяй, через пень-колоду, а с полочки, бывало, гуляли даже в сенокосную страду, когда всякий солнечный денек на вес золота. Лонясь гуляшки, да несешь гуляшки, вот и по миру побрели без рубашки... Трудяги, матеря лодырей, из остатних сил держали колхозы и совхозы на матерых плечах, но... тут, изъеденная крысами, рухнула держава и погребла трудяг в камень, пыли и крови.

На Руси кудеса — дыбом волоса: на окровавленных камнях, напялив маскардные хари, кобели и сучки по-пёсьи лают и соромные песни поют. А то и на церковной паперти собачья сбегишь... Одолели беси святое место... Выросший подле богомольного деда Прокопа, а когда богомольцам дали волю, и сам облаченный во Христа и даже в храме Божиим золотым венцом повенчанный с дояркой Нюшей, Еремей с горечью выписал из божественной книги: “...И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями...”

Попустил Господь: морок печали и скорби укрыл черными тучами васьильковое сельское небо, и счернели, обуглились солноликие подсолнухи... О ту злокозненную пору палёное пойло косило деревенских мужиков, словно курносая со стальной косой на плече, и деревня Шабарша обезлодела, а могилки зловеще разрослись в отрогах степного увала. Скотник Еремей и раньше, не сказать, что запивался, но пил редко да метко: ежели шлея попала под хвост, мог за присест литр осадить, а потом люто хворал, яро проклинал гулянку, и зарекался. Ну, да зарекался блудливая имануха в чужой огород не шастать...

И вдруг на исходе лет Еремей попрощался с зеленым змищем, и... чудно для деревенского скотника... привадился к чтению, отчего бабы сердобольно вздыхали, а мужики, косясь на книгочея, крутили пальцем у виска: мол, у Еремы не все дома, в тайгу ушли. А Еремей... на всякий роток не накинешь платок... плевал на суды и пересуды с пожарной каланчи; и, бывало, выкинет навоз из-под коров, отложит совковую лопату, из внутреннего кармана телогрейки явит на белый свет Библию и читает. Книжечку с ладонь, похожую на резной ковчежец, книгочей разорился и купил в свечной

лавке Ильинского храма, куда за пять верст похаживал на Всенощное бдение и заутреню.

Почитывал Еремей Святое Писание, а безбожные книги, кои, помнится, в школе проходили, в руки не брал, чурался, — страшился искуса, как и царь Давид: “Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе... но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и ночь...”

* * *

На закате лет забывалось ближнее, но чаще и чище, отраднее виделось дальнее или воображалось, ибо о ту пору еще пешком бродил под столом. Злым и тоскливым, волчьим воем выла крещенская метель, грызла венцы, зелеными зрочками пучилась в заросшие куржаком окошки, ведьмой плакала в трубе, но благодатью, покоем дышала жаркая русская печь. Лютые крещенские морозы загоняли домочадцев в избу: отроче млада полеживали на печи, а мать Еремы, пряха смолоду, сидя на изножье пряслицы, тянула нить из кудели, словно из белесого облака, мотала нить на юркое веретено; отец, вековечный пастух и скотник, посиживая на низкой лавочке, под ласковым печным боком, чинил хомуты и сбруи и, до слез умиляясь, слушал, как набожный дед Проккоп, привязав к ушам круглые очёчки, придвинув мерцающий жирник-светильник, степенно читал Четы-минеи* о житие-бытие святых угодничков. Бывший древлевер, потом единоввер, скудный книгочей, коего в церковно-приходском учении азы, буки, веди страшили, яко медведи, тихой поступью, бережной ощупью, по слогам одолевал дед Проккоп божественные глаголы про пустынников, скитских постников и молитвенников, вечевых юродов, страстотерпцев, а по весне поведал и о пророке Иеремии**. Из дедова бормотания Ерема уразумел лишь то, что Иеремия, словно бык впряженный в соху, ходил с ярмом на шее; но, зажив за полвека, Еремей самолично прочел житие страстотерпца, и даже красного словца ради выписал в заветный свиток из святого Иеремии: “Сие глаголет Господь: Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром; а вы вошли и осквернили землю Мою, и достояние Мое сделали мерзостью... Раб Мой и домочадец, как резвая верблюдица, как дикая ослица, рыщущая в пустыне, в страсти души своей глотающая воздух, сказал: не надейся, нет! ибо люблю я чужих и буду ходить путями их... И вот за то, что они поступают по упорству злого сердца своего, Я приведу на них с севера бедствие и великую гибель...”

В память о святом Иеремии по святцам и с молчаливого родительского согласия богомольный дед Проккоп, самочинно окрестив, нарек отроче млада Еремеем; и чаду с ветхозаветным именем вроде ничего не осталось, как, заматерев, сунуть шею в ярмо скотника...

Коли пророк Иеремия бродил с бычьим ярмом на вые, зримо запечатлев безбожным евреям грядущий полон и рабство, коли память святого юрода пала на зачин вешней страды... пора паялить на быков ярмо, запрягать тягловую скотину и сеять жито... то мужики повеличали первое мая по старому стилю — Еремей-запрягальник, Ярёмник, проще говоря. И может, не случайно, и власть, хотя и безбожная, а всё же народная, день Еремея-запрягальника намалевала в численнике красным цветом: мол, гуляй, подъярёмный труженик серпа и молота.

Еремей явился на белый свет в месяц травень-цветень, когда деревенские мужики и бабы с хмельной и тихой радостью, с молитвенным упоени-

* Минеи-четы (греч., слав. “ежемесячные чтения”) — сборники житий святых.

** Святой пророк Иеремия (VI в. До Рождества Христова) — пророчествовал в Израиле, обличая иудеев за отступление от Истинного Бога и поклонение идолам, предрекая евреям бедствия и опустошительную войну. По повелению Божию Иеремия надел на шею вначале ярмо деревянное, потом железное и так ходил среди народа, изображая иудеям рабство царю вавилонскому. За пророчества, которые предрекали евреям, богоборцам и богоотступникам, кары Господни, был убит иудеями.

ем, всем сердцем чуяли, сколь щедра и красовита, сколь обласкана Богом Русская Земля, будто воистину в месяц травник, в пору юных зеленей и робких цветов, среди вешнего половодья древний сказитель воскликнул о земле российской: “О, светло светлая и украсно украшена, Земля Руськая!.. Все-го еси исполнена Земля Руськая, о правоверная вера христианская!”

В честь рождения Еремея полыхало зелеными таежное и степное Прибайкалье; девыми щеками зардеел сиреневый багул на таежных солнопечных угорах; зацвела черемуха и боярка в поймах рек, и жор напал на карасей, коих мужики гребли и бродниками*, и сетями, и удами. Хвалили старики май: травень леса наряжает, лето в гости поджидает; явился май — под кустом рай; радовались конюхи и скотники: май — коню сена дай, положи вилы на сарай, а сам на печь полезай. Лишь коню и нужен навильник сена, а коровы и овцы на вольном выпасе прокормятся. Хотя деревенские темноверы сокрушались: мол, родился в мае — век промаешься, в мае женишься, от венца добра не жди. Еремей же, уроженец мая, и женился в мае на доярке Нюше Житовой, и лишь под старость познал маету, когда овдовел, когда и деревня овдовела, осиротела, запустела.

Помнится, дед Прокоп говаривал, глядя мутными, слезливыми глазами в сельскую старь: де, к Еремею-запрягальнику мужики чинят плуги, бороны, телеги, дути, сбруи, хомуты, а бабы и девки ткут из конского волоса личины — сетки от мошки и комаров и прочего летучего гнуса. Ждут мужики, когда земля прогреется; смышленные, расторопные навещают поля и, преклонив колена, кладут обе руки на пашню, гадают: тепла ли мать сыра земля?.. А то пошлют старика, хлебороба вековечного, и старче, дабы проверить, поспела ли земля для сева, прогрелась ли, скидывает порты и садится на пашню, яко на-седка цыплят выводить. Дед Прокоп поминал: “На Еремея погоже, то и уборка хлеба пригожа... На Еремею-запрягальника и ленивая соха выезжала в поле. Да... Одни мужики, бывалочи, пашут пары, другие под пашню вздымают залежи — отдохнула заморенная земля, иные орут залого — у тайги отвоевали пашню. В мае же, паря, начинают сеять яровые... Перед севом мужики на заутрене в церкви молились — душу очищали; а глядя на ночь в бане парились — плоть омывали, хворь из костей изгоняли; и с бабой не спали — упаси Бог... Но жили, не тужили... А в поле, снявши шапку, молились на солноуход: “Батюшка Илья, благослови семена в землю бросати. Напой мать сыру землю студенкой росой, дабы несла пашня зерно, вскольхала зерно, возвратила зерно щедрым колосом...” Плох овес — наглотаешься, паря, слез; не уродится рожь — по миру пойдешь, а безо ржи, паря, жеребцом ржи...”

* * *

Науськанные лукавыми мудрецами мира сего, галдели пустозвоны: перестройка!.. перестройка!.. порушим былое и заживем, как за бугром, а там народец как сыр в масле катается. Поверили... ждали обоза... дождался навоза. Спихватившись, начальство кто за гриву, кто за хвост растащило весь колхоз; дурнопяным бурьяном заросли пашни, где пахотные мужики с Еремею-запрягальника сеяли жито; лишилась деревня и скота, и обредело полесное поселье; иные, опившись паленой сивухи, заселили могильный угор, иные укочевали в губернские города и живые села, лишь приросло к подворьям старичье, а мужичье либо глухо спивалось, перебиваясь случайными калымами, либо, неисповедимо обзаведясь скотом, инвентарём, пахало от зари до зари, абы выжить да ребятишек выкормить, выучить. Отчаянные, подрядившись у барыг, кинулись пластать тайгу, — валить строевой лес, трелевать, возить на нижний склад; и... застучали колеса по рельсам, погнали сибирскую тайгу в страну восходящего желтого солнца, а барыши мимо государевой казны с золотым, зловещим звоном посыпались в сусеки мироедов.

Слава Те, Господи, отец Еремея, Мардарий Прокопьевич, раненный, контуженный да и умалишенный, не узел мерзости опустошения... Иисус

* Бродник, бредень — короткий невод.

Милостивый лишил старика дольнего ума и, может, одарил горним... не видел вековечный пастух и скотник... сердце бы лопнуло... как супостаты, искусив художий народец, полонили и разорили русскую землю. Схоронив богоданную, что надорвалась в войну на лесозаготовках, Мардарий Проконьевич коротал век подле Еремея... иные сыны и дочери рано упокоились либо разбрелись по земле... но жить в избе старик не пожелал, а ради молитвенного уединения заочевал в тепляк*. Истово молился, страшась воздушных мытарств, когда ангел-хранитель поведет грешную душу по лестнице на небеси, а тут налетят чернокрылые ангелы, заграят, закаркают, лихо зашипят: “Греш-шник!.. греш-шник, наш...” и повлекут в тартары, и оборонят ли белокрылые ангелы...

Нюша кормила, поила, обихаживала старого Мардария, а Еремей беседовал; вернее, старик пытал, сын отвечал. Раненько, зажив лишь за восемьдесят, отец оскудел земным разумом, потерял память; но странно, забыв ближнее, ясно и живо зрел дальнее, довоенное и доколхозное, когда Прокон Андриевский и сын его Мардарий пасли пять коров, восемь телок и бычков, трех коней и дюжину овец, а после Покрова Божией Матери, когда выставлялся снежный наст, креп санный путь, промышляли ямщиной. А ныне Мардарий, остаревший, выживший из ума, вопрошал Еремея, когда тот заворачивал в отеческий тепляк: “Ты коней-то, сына, напоил?..” — “Напоил, тятя, напоил...” — “А коровам сенца кинул?..” — “Кинул, тятя, кинул...” — послушно отвечал Еремей, хотя из живности бродил по усадьбе лишь лохматый сибирский кот да вяло брехал одряхлевший пес. “Гляди, сына, в оба: Зорька стельная, со дня на день отелится; не заморозить бы телка...” Для интереса Еремей другой раз перечил: “Кого стельная? Зорька же нонче ялова...” — “Ты меня не путай, баламут. У меня чо, шарабан совсем не варит?! Я же сам Зорьку к быку водил...” — “Дак ты, батя, не Зорьку, ты Красулю водил...” Так и судачили сын с отцом...

Погрѐб Еремей тятю, затем сына винопивца, что однажды дозелена упился паленой водки, а год назад и жену, Богом данную, и, вдовый, безработный, удумал кочевать в Иркутск, где в Знаменском предместье бобыльничала старшая сестра, которая и сомущала в город.

В канун кочевья собрался на могилки, где утихомирился сын, от безбожья, безробья и тоски запивший, да так во хмелю и загнувшийся, где упокоился и прах сердобольной Нюши. Еремей волочился на могилки, устало шаркая подошвами; шел прощаться, просить совета у Нюши: кочевать или век в Шабарше доживать. Брел по улице, пустынной, добела опаленной августовским зноем, тоскливо озирал гнилые, черные избы, утаенные в сырых и заплесневелых сумерках черемухи и боярки, высматривая выбитые глазницы окон, выломанные двери. Словно слепцы-христорадники очутились посреди степи без поводыря, затагнули кручинную старину, и ветер, по-волчьи подывая, треплет лохмотья, укрывающие иссохшую, костистую плоть. Угрюмо дыбились и добротные пятистенки, рубленные из матерого леса да, как повелось в притрактowych деревнях и селах, крытые на четыре ската матерым тѐсом. Кулацкие хоромины, счерневшие, словно облаченные в предсмертные, монашеские рясы, с мрачной горделивостью, не падая ниц пред супостатами, молчаливо и страсотерпно глядели в небеса крестообразно заколочеными ставнями. Иные усадьбы уже смела лихая судьба черным, дымным хвостом; рассеялся дым, осел пепел, и вместо изб, амбаров и бань ныне чащобный березняк и осинник.

Чахла лесостепная деревенька Шабарша, вытянутая в поредевшую избам, притракттовую улицу, похожую на обезумевший и обеззубевший, провалившийся старческий рот, обметанный сухой ковылью, где вольно гулял и ночами разбойно свистел гулевой ветер, бухал ставнями, взвизгивал капитками.

Глухо в закатной деревушке; лишь подле речушки Шабарши, что тихонько шабаршила среди буйно зеленой осоки и лохматой кочкары, Еремей

* Тепляк — теплый флигель в деревенской усадьбе, где варили корм коровам, свиньям, а иногда в тепляках доживали век старики либо, наоборот, заселялись молодожены, которые пока еще не срубили избу.

встретил Настасью, костистую, жилистую бабу, что по-соседски подсобляла горемычному вдовцу по-хозяйству и, сама давно уж овдовевшая, в душевном потае, похоже, метила в хозяйки. Но Еремей, и тоскующий по жене, и палимый виной перед покоенкой, чтит Настасью лишь как пособницу да сестру во Христе, дружески склоняя ее ко святому крещению и тоже подсобляя, если в усадьбе нужна была мужичья рука. Настасья черпала воду во флягу, умощенную в детскую коляску без кузова, и при виде Еремея заговорила было, но сосед лишь кивнул головой; о чем толковать, коль с утра перетолковали?! сулилась присматривать за домом.

А подле магазина Еремей рысью обогнул родича... дальний, седьмая вода на киселе... который раньше пахал без продыху, а ныне пьет не просыху; миновал торопливо, иначе взаимы попросит, и, как обычно, без отдачи: дай мне, а возьми на пне. Проморгал родич Еремея; спорил с козлом по прозвищу Борька, которого винопивцы привадили жевать окурки и, злобясь на Президента, величали иной раз Николаичем, прости, Господи, пьяным безумцам, не ведали, что творили. Еще вчера рослый и русокудрый, ныне счерневший, оплывший, до срока оплешивевший да и завшивевший, родич шатко сидел на магазинском крыльце и, глядя мутными, заиленными глазами, вопрошал козла, повинно опустившего рогатую башку:

— Эх, Борька, Борька, сука ты лагерная, обычай у тя бычий, а ум телячий... Ты чо, пахан, решил народ голодом уморить?! Коровью бурду лопают... Кого, кого?.. чо?.. чо говоришь?.. Чья бы корова мычала, твоя бы молчала... Сам-то, сука, коньяк хлещешь... пять звездочек, а мы катанку, паленку*... Кого?.. Не ври, сучара!.. Кто врет, тому бобра в рот... Видали мы тебя в гробу в белых тапках...

“Пропал мужик, — обернувшись на ходу, посетовал Еремей. — А был механизатор широкого профиля; губерния гордилась, грамот полон комод и две медали; а как рухнула держава, рухнул и мужик. По первости хоть заглядывал в рюмку, но, бывало, и калымил на лесоповале, трелевал лес на тракторе; а ныне каждый день да через день пьяный в дымину. Пропил мозги, коли со козлом скандалит. Да чудится, видно, что Борька ему еще и отвечает...”

За порушенной поскотиной... жерди мужики растащили на дрова... среди бодыльника бродила жалкая дюжина коров... а вроде еще вчера Еремей пас стадо... и в небе, что добела выгорело на пальцем августовском солнце, одиноко и сиротливо кружил ястреб-куроцап.

На могилках, кои слезливо и понуро разбрелись по степному увалу, Еремей зауспокойной мольбой помянул спящих родичей, а перво-наперво отца Мардария Прокопьевича, потом деда Прокопа, бабу Настасью и горемычного сына, сгоревшего от паленой водки... “Эх!.. — Еремей покаянно закрипел зубами, заплакал, поминая сыновей, — надо бы рóстить не всё лаской, а ино и таской: старший бы не пил, младший бы по белу свету не блудил. В люди бы вышли... Старики же говорили: толк-то есть, да не втолокон весь. Ремнем-то и втолкал бы через задние ворота... Брать бы сосновую орясину, чем ворота подпирают и варнаков угощают, и выхаживать через день да каждый день. Ноне бы руки целовали... Мужик умён, пить волён, мужик глуп — пропшет и тулуп. Вот и мой... Царствие ему Небесное... — вина вновь опалила Еремееву душу. — Слава Богу хоть окрестился...”

А вот и Ньюшина ограда, словно женой и крашенная васильковым цветом... Еремей виновато уложил на могильный бугорок голубоватые и белые ромашки, со вздохом вспомнил, что сроду не дарил Ньюше цветы, сроду не пел в ее уши о любви, — стеснялся, пень горелый, а Ньюша любила ромашки... Издалека, из юности, тихо доплыла песня: “Если б гармошка умела всё говорить, не тая... Русая девушка в кофточке белой, где ж ты, ромашка моя?..”

“Да-а, где ж ты, ромашка моя?..” — Еремей тяжело вздохнул, вгляделся в морщинистый, пепельный крест, в замытую дождями, хоть и застекленную, туманную карточку, и накатила рябь в глаза, и лицо Ньюши поплыло,

* Катанка, паленка — контрабандный (паленый) спирт низкого качества.

стало далеким-далеким, заоблачным, бесплотным. Но лишь отвел взгляд от креста, увидел Ньюшу живой: крепко сбита, но махоня, Бог росту не дал и красы бабьей, да колы отпахнутые глаза лучились любовию, а с бугристых губ не сходила странная виноватая, смиренная, ласковая улыбка, с чем и почила, то на Еремееву жену соседи, бывало, налюбоваться не могли. А что уж говорить о муже... Правда, сырая уродилась, слезливая: ладно бы в горе, а то, бывало, и в застолье радостном люди поют и пляшут, а Ньюша улыбается и слезами уливается...

Еремей трижды перекрестился на солновсход и, давно уж вызубривший молитвы, промолвил зауспокойную:

— Помяни, Господи, душу усопшей рабы Твоя Анна, и прости вся согрешения вольная и невольная, даруй ей Царствие Небесное и причастие вечных Твоих благих и Твоя бесконечная и блаженная жизни наслаждения...

Молитвенно помянув жену, пал на колени, сунулся лбом в щетинистый, могильный бугорок и, давась слезами, глухо зашептал:

— Прости, Ньюша... прости, Христа ради... Настрадалась ты, Ньюша, подле меня... ох, настрадалась, прости мя, Господи... — Еремей осенился крестом и покаянно вжался лбом в сырой могильный бугорок, словно надеясь услышать прощение из земного чрева. — Прости, и попилал, бывалочи, и гулял... очухался, дак и жизнь за увалом... Наплакалась, Ньюша, прости меня грешного...

И вдруг Ньюшин голос почудился, но не тяжкий, из могильной глубины, а ветерком спорхнул с облака, плывущего в синеве, колыхнул чахлую листву кладбищенской березки:

— Бог простит, Ерема, а я не вино тебя... Без стыда рожки не износишь, без греха век не изживешь... Един Бог, Ерема, без греха... А слезы мои... слезы — роса: ночью пала, а утром солнышко слизало. Да лишнего-то не присбирывай... А год лежнем лежала, дядя за мной ухаживал?! мыл, горшки выносил, кормил и поил?! А ты и скотом не попускался...

Помолчав, собравшись с мыслями, Еремей поведал нынешнюю беду и просил благословить на кочевье:

— Надумал я, Ньюша, кочевать в Иркутское... к сеструхе. Тяжко в деревне, один же как перст... — помянулась дочь, что мотается по белу свету за мужем офицером; помянулись и сыны: один в деревне угорел от паленой сивухи, другой на Тихом океане болтается, как навоз в проруби, вроде треску и селедку из океана гребет совковой лопатой да шлет изредка весточки: мол, жив-здоров, лежу в больнице, с переломом поясницы, но скоро гряну с долгими деньжищами, и, однако, уж пятый год грядет. Ньюша, бывало, в печали родительского сердца молилась преподобному Сергию Радонежскому и великомученику Евстафию Плакиде за чад, безвестно летающих по белу свету; а за сына, палимого вином, денно и ночью Иисусу Сладчайшему: де, умоляю Тя пощадить мое чадо и избавить сына от пьянства греховного; истреби зависимость мерзкую и навлеки на сына волю дерзкую. Пусть к питью он не притронется, и тяга его успокоится... Но опоздала заздравная молитва, зауспокойной пришел черед...

— Лихо мне в деревне, Ньюша, глаза б не глядели, как деревня загибается... А в Иркутском, Ньюша, хоть душа родная — сеструха... Зовет... Тоже одна кукует... Говорит, в Иркутском и пенсию оформишь... Ничо меня в Шабарше не держит, Ньюша; а вот как с тобой расстаться?..

— Езжай, Ерема, с Богом. С родной душой и доживешь век. Вот и будете на пару домовничать... А добрая баба подвернется, дак и женись, не можах же. Вон и Настасья одна горе мыкает... О могилке не печалься, в могилке — прах, а в город укочуешь, сходи в церкву, поставь свечку на помин души рабы Божьей Анны да помолись о многогрешной...

— Помолю-юсь... чего не помолиться? Да вот беда, услышит ли Бог... во грехах, как в шелках... Писание-то почитываю, а... чо уж греха таить... лоб перекрестить забываю. Да... Помолось, конечно... помолось, Ньюша, и ты молись за меня, грешного...

— Молось...

Еремей хотел бы молвить ходовое, могильное: мол, “пухом тебе земля”, но смекнул, что костям безразлично: земля — пух, камень, корень, песок, суглинок, а вот душе... а посему повторил заупокойную мольбу:

— Упокой, Господи, душу усопшей рабы Божией Анны, и прости ей вся согрешения вольная и невольная, и даруй ей Царствие Небесное...

“Даровал, поди; недаром батюшка и отпел на святую Анну-пророчицу... Ежели Нюше рай не даровать, дак кому тогда?! И Богу молилась, и билась, как рыба об лед, всем пособить норовила; никого не осудила... и сроду худого не помыслила. Век прожила, на чужом дворе щепки не подобрала... Крутилась, как берёста на огне: и на дойку поспеть, и свою скотину обрядить, и домочадцев накормить...”

Вернувшись с могилки, словно во сне, неприкаянно бродил по усадьбе, глядел сквозь слезный туман, и везде — в коровьей, куричьей, овечьей стайках, в амбаре, на сеновале, в сенях и избе, — везде виделась Нюша: плечом к плечу городили, обихаживали подворье, что досталось от деда Прокопа. Старик... а тогда еще маслатый мужик... срубил избу, стайки, амбары и баню не в лапу, как привадились иные плотники, а по старинке в охряп, когда, высунувшись из угла, венцы светятся, словно череда солнц. Даже баня... опять же от деда Прокопа, Еремей поменял лишь нижние венцы и полы... даже баня, как встарь, топилась по-черному, дым валил через волоковое окошко. Не рушил Еремей заведенной стариком подворной облички, и когда верей, на коих висели тесовые ворота, подгнили у земли, вкопал свежие листовичные столбы, а заодно поменял и тес на воротах и на двухскатной крыше. Потом обновил свежим лесом и бревенчатый заплот. А сколь в завозне выжило дедова инвентаря, начиная от стожней, длинных трезубых вил для метания сена в зароды и кончая кожемялкой.

Сглупа Еремей пытался продать усадьбу, но даже по дешевке никто не брал, коль и брошенные гнили под дождем-сеногноем. “Оно и ладно: может, не заживусь в Иркутском, прибегу в Шабаршу, — подумал Еремей. — На всё воля Божия...”

По доброму-то погодить бы до бабьего лета, выкопать картошку, морковку, свеклу, сыпать в подпол, но не лежала душа, всё валилось из рук, и мужик попустился; огородину на корню отдал соседке, — сгодится: через три дома от Еремея жила Настасьина невестка, безработная, овдовевшая, с тремя чадами мал мала меньше. Муж, тридцатилетний Настасьин сын, по первости горбатился на воровском лесоповале, и крох, что хозяин кидал с барского стола, едва хватало семью прокормить, а надо и голь прикрыть; благо, мать подсобляла, выкраивала из пенсии на внуков, благо, корову, бычка да кур держали, а то хоть по миру бреди с холщевой побирушкой-помирушкой. Если при народной власти сельские, а ино и городские, прыткие мужики мотались за длинным рублем на севера и великие стройки, то сын соседки, отчаявшись, завербовался на кавказскую войну, где и сложил буйную головушку; да так сложил, что и отыскать не могли; друзья-однополчане нашли лишь обезглавленное тело. Мать от горя почернела; а невестка все глаза выплакала...

Еремею собраться — подпоясаться; укутал в наволочки дедовы иконы и семейные карточки, набитые в узорчатую раму, лобзиком самолично выпиленную из фанеры, потом собрал скудные пожитки в заплечный сидор и чемодан, повесил на сенные двери ржавый амбарный замок без ключа, земно поклонился родному подворью, в заветном укроме души чая вернуться, и тронулся с Богом.

* * *

Поселился у сестры; слава Богу у вековой бобылки водилась за душой двухкомнатная квартирешка в древнем бараке Знаменского предместья, затаенном в тополевой чаще. Ветхое жильё, сырое, зябкое, но век доживать можно; да и грех жаловаться — с крушением страны столь народу обездомело.

По приезде огляделся, прописался, вспомнил, что пора пенсию выхаживать, и рванул в собес... так по старинке звал Еремей пенсионный фонд...

и подивило мужика: пенсишкы — грошовые... хлеба купишь, на чай занимай... а собес — роскошный дворец, похожий на муравейник с гору; задержишь башку, чтобы крышу узреть, фуражка падает; а в муравейнике мельтешат чинуши мурашами, бумагами шелестят, перьями скрипят, меж собой судачат на тарабарном говоре, где изредка мелькают словеса русские.

Долго потомственный скотник выхаживал пенсию; пластался по собесу, как савраска без узды; в муравейнике то выходной, то проходной... поцелуй пробой и вали домой... да еще на кого нарвешься. Еремей и нарвался на пучеглазую, дебелую деву, маскарадно крашенную, со взъерошенной копной белесых волос; про эдакие прически в деревне говаривали: “Не одна я в поле кувыркалась...” да приговаривали: “Щеки свекольно напонадила, глаза насурьмила, — черные да узкие, как у дикой тунгуски, корольки на шею надевала в три нитки, и пошла трясти подолом, мужиков сомущать...”

Топорно рубленный в охряп, скуластый, в черном, коробистом пиджаке, на лацкане которого алел знак “Ударник коммунистического труда”, Еремей стеснительно мялся с ноги на ногу подле стола, тряскими руками скручивал в жгут фуражку с долгим, похожим на клов, жестким кондырем. Мысленно бранил себя: “От чучело замшало, от чухонь, и кого начепурился?! Еще и фурагу американскую напялил; смешно смотреть, сидит на башке, как седелка на корове...”

Похожая на сову, дива пучеглазая валяжно посиживала, растекшись крупом на вертлявом стуле, и, не глядя на мужика, кроваво крашенными коготками скребла бумажную гору, лениво листала бумаги. Над ее лохмами в бурой, слизистой раме висел кичливый, горделивый Президент, вылитый тать придорожный, атаман разбойный. Еремею почудилось: глаза Президента, как у быка необлегченного, вспучены хмельной удалью; и отчаянные, мутные думы забродили в Еремеевой голове; но если, обличая варнака придорожного, поведать мысли книжным слогом, думы горемычного простеца обрели бы эдакую обличку...

С упованием на чудо, с надеждой на грядущего отца народа, и выживало бабье и мужичье, а то и просвета в ночи не зрело. Под чужебесный шабаш кремлевской нежити, что за тридцать сребреников продали Русь, под звериное рыканье кабацкого ярыги — кремлевского самозванца-самохвала, — холопы тьмы и смерти похабили и грабили Россию, уже лежащую на смертном одре под святыми ликами; хитили тати российское добро, что отичи и дедичи кровью и потом добывали, а ддя содомской утехи и потехи изгалялись, нетопыри, над русским словом, древним обычаем и отеческим обрядом, чтобы народ и голодом-холодом уморить, и душу народную вынуть и сгноить. О ту злочастную пору смешно и грешно было бы стучаться в кремлевские ворота с горестями; се походило бы на то, как если бы мужики из оккупированной Смоленщины и Белгородчины били челом германскому наместнику, лепили в глаза правду-матку и просом просили заступиться: мол, *батюшка-свет, наше житье — вставши и за вытье, босота-нагота, стужа и нужа; псари твои денно и ночью батогами бьют, плакать не дают; а и душу вынают: веру православную хулят, святое порочат, обычай бесчестят, ибо восхотели, чтобы всякий дом — то содом, всякий двор — то гомор, всякая улица — блудница; эдакое горе мыкаем, а посему ты уж, батюшка-свет, укроти лихомцев да заступись за нас, грешных, не дай сгинуть в голоде-холоде, без поста и креста, без Бога и царя...* Пожалел бы чужеверный правитель горемышное русское народишко, как пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву: ухмыльнулся бы в рыжие арийские усы и подпалил сигарету от горящей челобитной.

Еремей тут же покался в душе, что всяко высрамил Президента; все мы — день во грехах, ночь во слезах, да и речено же в Писании: не судите, ногами не топчите, а то и сами в лоб схлопочите.

С горем пополам крашеная дива вырыла Еремеевы бумаги, которые он давненько уже высучил собесу, и стала заполнять бланк.

— Ере...мей... Мар...дар...евич... — диве почудилось имя смешным, а отчество еще потешнее, и она едва сдержала смех, распирающий пышные щеки. — Еремей Мардаревич?.. верно?

- Верно...
- Вначале “мар” или “мор”?
- Мар... Не от “морды”, от “мар” и “дар”...

Вспомнился колхозный ветфельдшер Яша Ягодицын, — конский врач по женским болезням, как величал себя во хмелю, — лысоватый, узенький, сутливый мужичок с ноготок, который, знакомясь в застольях, протягивал сухонькую, нервную руку: “Ягодицын — не от ягодицы, от ягоды...”

С фамилией у Еремея ладно — Андриевский, а вот с именем, а тем паче с отчеством, ох, не подфартило... Боговерущий дед Прокоп, начитавшись житийных сказов, одарил внука эдаким имечком, от коего Еремушка наплакался в школьном отрочестве, — потешались сверстники, дразнили: “Ерёма-дрёма, сиди дома, вокруг дома бродит бома*...” Бывало, впорхнет Еремушка в избу, размазывая слезы по щекам, пожалуется деду Прокопу, а дед утешает, поучает: мол, дразнят, а ты им: не ставь кулему на Ерему, сам попадешь... Сплошь Владимиры в память об Ильиче, повально Юрии в честь парня, что занебесной тропой обошел землю, а тут Ерёма... дрёма; отчество же и того хлеще — Мардарьевич. И угораздило же отича родиться по святцам в день памяти святого Мардария... Отроком Ерема подслушал, как хмельной отец жалобно пытал дада Прокопа: “Отец, а отец!.. ты пошто меня Мардарием назвал?” “По святцам, сына, по святцам... — дед Прокоп кивал по-птичьи махонькой, белопушистой головушкой. — Ты же, сына, родился в память святого Мардария, Киево-печерского рачителя нищеты...” — “А получше-то имя не нашлось?.. Чо, в святцах один Мардарий был?.. Видел я в святцах и Сашу, и Вову, и Колово, и Женю... Ты пошто, отец, мне страшное имя-то дал?..” Дед хитро и ласково глянул на сына: “А для смирения, сынок...”

Хотя Еремей на своем веку встречал имена и похлеще, навеянные волчьими ветрами: в деревне померла древняя Изаида* Ивановна, избачка, так в досюльные лета звали библиотекарей в избе-читальне; колхозом одно время правил Мэлс*** Исакович, а на районном слете доярок, пастухов и скотников... запомнилось же... вручала похвальные грамоты секретарь райкома партии Даздрасмыгда**** Ибрагимовна Мухутдинова.

— Год рождения? — спросила дива, глядя в бланк сквозь синие ресницы.

— Сорок первый.

— Место рождения: деревня Ша-бар-ша... — дива опять ухмыльнулась.

Еремею хотелось тихо и зловеще попросить: “А вот этих ухмылочек не надо, а то мы тоже можем...”, но что мы можем, мужик не ведал, а посему лишь кивнул головой и далее отвечал послушно; лишь споткнулся, замешкался, когда дива пыталась насчет образования.

— Образование?

— Образование! — дива раздражалась.

— ШРМ...

— Это что, колледж?..

— Школа рабочей молодежи! — отчеканил закипающий скотник.

— ШРМ... — крашеная дива не удержалась, рассмеялась: похоже от созвучия, соцветия ШРМ с “шарашкой” и “шарамыгой”.

Еремей, отроду комолый — так в деревне звали безрогих быков и смиренных мужиков, что муху не обидят, нынче, словной блажной, психанул и, катая желваки под скулами, про себя зловеще упредил: “Смотри, телка, не лопни!..”

— Кем работали последние годы.

— Скотником.

— Профессия такая? — опять ухмыльнулась дива.

— Профессия... за коровами говно убирать...

— Вы как разговариваете?! — вспыхнула дива. — Вам здесь что, скотный двор?!

* Бома — одно из многочисленных имён чёрта.

** Изаида — иди за Ильичем, детка.

*** Мэлс — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин.

**** Даздрасмыгда — от сокращения лозунга “Да здравствует смычка города и деревни”.

— А чо ты мне, халда, дурацкие вопросы задаешь?! И хайло распазила... Не с той ноги встала?..

Еремей не глядел на диву, а вроде лаялся с Президентом, холодно и презрительно глядящим на скотника из глубокой и грузной, резной рамы, словно из лакированного гроба. И вроде стыло усмехается, пуская мимо ушей Еремееву брань: собака лает, ветер носит, караван бредет...

Дива презрительно глянула на потомственного скотника и, грозно молотя копытами, ускакала из кабинета. Еремей подивился: и как она, дура, ходит на эдаких высоченных каблуках, словно на скоморошских ходулях?! лодыжки же вывернешь, упадешь, убьешься... Не успел Еремей додумать горестную думу, как дива и ворвалась с начальником, таким же стильным, молодым, хотя и с брюшком, начальственно нависающим над брючным ремнем. Оглядел Еремей начальника, глянул на размалеванную красу, и мужичье чутье подсказало: блудят исподтишка...

— Вы почему грубите?! — начальник со свинцовой тяжестью уставился на Еремея сквозь толстые очки.

— А кого она смеется?! Прекраса, кобыла савраса... Чо смешного? ШРМ да ШРМ... Я с четырнадцати лет пошел в колхоз чертомелить, из-под коров навоз выгребать. Отец хворал... раненный с войны пришел, и мать хворая... Вот и доучивался в ШРМ...

— Мужик, нам до фени твое гребаное ШРМ!.. ты, хамло, извинись перед сотрудницей!.. — по-рачы пуча зенки под очками, багровея опухшим лицом, начальник пёр брюхом на мужика, дива заполошно кудахтала, словно кура, кою петух оттоптал, но Еремей уже худо слышал, худо видел: уши забило сенной трухой, глаза заволокло жарким туманом, и привиделось во мгле: вроде парень — бульдог с тупым рылом — бежал, бежал, хрясь об столб, и харя плоская, и глаза налиты кровью, а дива — долгая такса, и не люди, а псы лают на него, потомственного скотника.

Еремея затрясло, как в родимчике; потомственный скотник, обходя взглядом начальника, глядел на портрет и бранился с Президентом.

— Ты норки-то не раздувай, не раздувай, не боюсь, — это звучало молитвенно: де, "...страха вашего не убоимся, ниже смутимся: яко с нами Бог...". — И на арапа не бери, глотку-то не рви, глаза не пучь... Ты чо, думаш, я пыльным мешком из-за угла пуганный?! Не на того нарвался; на Руси не все караси, есть и ерши... Страну разворовали, сволочи... Да вам!.. — Еремей обреченно махнул рукой на Президента, — вам хоть напшой в глаза, всё Божья роса!..

Как пробка вылетел из собеса, пал на садовую лавку под корявым тополем, и когда дрожь унялась, гнев утихомирился, горестно сплонул в ржавую траву: "Тьфу! и поче, балда, облаял мужика и девуку?! От язык, а!.. прежде ума рыщет, беды ищет..." А тут еще и голос Ньюши померещился: "Эх, Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил веретёна... Кого ты на них наकिनулся, будто пес щепной?! А дед Прокон, помню, говорил: злое слово и добрых обращает в злых, а доброе слово и злых обращает в добрых..."

В Еремеевых глазах потихоньку разъяснело, словно ветер-верховик угнал стадо серых туч, и в стыло синих небесах привиделось: мужик молодой, а весь оплыл, мамон, как у бабы на сносях, лицо одутловатое, багровое, — однако, паря, не заживется на белом свете. До слёз стало жалко мужика: палит душу, гневливый, горделивый, надсаживает тело, — любит крепко вышить, закусьить, чревогодник. Пузо лопнет — наплевать, под рубахой не видать... Не долго протянет, бедолага... И дева приблизилась: пустоцвет, махом отцветет, опадут лепестки в осеннюю лужу, где кочуют облака, обнажится жалкий пестик, и рванет октябрьский ветер-листодер, сломит хилый стебель... — словом, женатый мужик... в поле ветер, в штанах дым... с коим жила в блюде, бросит ее, увядшую, бесплодную... грязно выдавила плод, сгубила душу ангельскую... и запьет, и запоет лазаря обесположенная бабонька, и озлобится, да следом за мужиком и улетит в тартары...

Выветрилась обида, и томительная жаль стиснула душу, словно сам и породил парня с девкой; и так стало жалко горемычных, что, преодолев сомнения, робость, Еремей вернулся в кабинет, где, как и ожидал, застал

начальника и подопечную. Сидят и, поди, его мужичьи кости перемывают... Смутно помнил Еремей, как путано... чухонь чухонью же... бестолково извинялся, но врезалось в память, что вдруг и начальник извинился, потом и дива смущенно опустила глаза синими ресницами...

А в сестрином бараке, некогда сиреневом, ныне облупленном, утаенном в тополином плетеве, у Еремея впервые мучительно защемило душу, кинуло в жар, перед глазами поплыла цветастая рябь, и белый свет померк. С горем пополам доползла до Знаменского предместья “скорая помощь”, уторгала сердечного в губернскую клинику. Пенсионные документы оформляла сестра, а Еремей, выйдя на волю, опять занедужил и лежал под святыми образами, едва живой, как осенний лист, как догорающая лучина.

Но прежде веку не помрешь; одыбал и подолгу сидел недвижно, томился, непривычный к праздному сидению без заделья; а истомившись без дела, пошел искать хоть заваливающую работенку, но нигде не брали пенсионера, невзрачного и нерослого. По настоянию сестры, богомольной бобылки, прибился к Знаменскому собору и, почитывая Писание, исповедуясь и причащаясь Святых Тайн, стал помышлять о Царствии Небесном, куда, полагал, скоро Господь поманит. И однажды после литургии, укрыв левую ладонь правой, пробился к батюшке под благословение и посетовал на то, что мается без работы. Батюшка и пристроил Еремея церковным сторожем; а уж дворничал безкорыстно: в отраду прохладным летним утречком подмести ограду, в утеху, рдея щеками, пихать, кидать хрусткий снежок.

Но лишь оттепелело, и городской снег побурел, набух влагой, Еремей, чуя себя кукушкой без гнезда, по-вешнему остро затосковал по дедовой избе; даже виновато плакал ночами, словно и не избу, а мать родную бросил; и мать, одинокая, скорбная, печалится у калитки да, заслонив ладонью закатный свет, долго глядит сквозь слезный туман в край улицы: не покажется ли блудный сын... Оно и перемогся бы, перехворал тоской... пенсию выходили, выхлопотали и работа благодатная при храме... но скучно стало Ерёмушке на чужой стороншке, да вдруг от шабаршинской соседки Настасьи еще и письмо пришло, где после вестей — кто спился, кто утопился, кто женился, кто родился, кто крестился, — Настасья писала: “...бывший зоотехник Илья Гантимуров, у которого два магазина и заправка, надумал хозяйство открыть, скота держать. Говорят, уже справил бумаги на землю и ферму, что возле речки, хорошо хоть не успели её расташить. На собрании говорил, что по весне будет скот закупать. Работников нанимает, и тебя спрашивал. Чо уж у Ильи выйдет, Бог весть, но мужики надеются...”

Сколь ни отговаривала сестра, по весне Еремей собрался в родную Шабаршу: мол, пора картошку сеять...